

БЛЕСТЯЩЕЕ БЕЗУМИЕ

Штрихи к портрету
Петра Яковлевича Чаадаева

...всегда мудрец, а иногда мечтатель
и ветреной толпы бесстрастный
наблюдатель...

Пушкин

«*Mon illustre demenée*» — «мое блестящее безумие» — так говорил о своей жизни Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), человек оригинального ума, «храбрый, обстрелянный, испытанный в трех исполинских походах»¹ офицер, красавец, изысканный и изящный светский собеседник. Все было дано ему судьбою: знатное происхождение, богатство, великолепная карьера. Никто лучше его не танцевал на балах, никто так не умел носить одежду. Это ему посвящены знаменитые пушкинские строки «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», и это с его будуара списан онегинский — со щетками тридцати родов, духами в граненом хрустале и проч. и проч. Никто не производил такого взрыва в общественном мнении единственной журнальной публикацией.

Удивительна судьба этого человека. И она не вполне укладывается в стереотипные представления о философе (о его предназначении, об образе жизни и проч.) в России, где всякое вольномыслие, как известно, каралось — не будем приводить широко известные примеры. А Чаадаев жил — как хотел. Опубликовав в журнале первое из «Философических писем», кощунственных для русского общества, автор «отделался» только официальным клей-

¹ *Жихарев М.* Петр Яковлевич Чаадаев: Из воспоминаний современника // Вестник Европы. 1871. Кн. 7. С. 188.

мом умалишенного, которое, однако, вскоре было снято, а вот издатель был сослан, цензор отстранен, журнал закрыт...

В 1808 году четырнадцатилетний Петр Чаадаев вместе с братом Михаилом поступает в Московский университет; там и начинает формироваться «чаадаевское мировоззрение», основанное на идеях просветительства и свободолюбия. В университете Чаадаев слушает лекции по русской поэзии А. Ф. Мерзлякова, по философии — Буле, по политической экономии — Шлецера. В одно время с ним учились многие будущие декабристы. Здесь Чаадаев близко сходит-ся с Грибоедовым, Кавериным, братьями Муравьевыми, Якубовичем и другими.

Но не только науки занимают будущего философа. Ему надобно быть первым в свете — и красавец Чаадаев создает себе репутацию одного из самых блистательных молодых людей в Москве. «Одевался он, можно положительно сказать, как никто, — вспоминал биограф и племянник М. Жихарев. — Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога, напротив того — никаких драгоценностей, всего того, что зовут „bijou“, на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель и ему подобные, и потому удержусь от сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения»¹. Впрочем, увлечение философией и потребность блистать в обществе для Чаадаева были органичными — «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», скажет Пушкин. Эти свойства характера отразятся потом и в истории публикации его «Философических писем», да и в самих «Философических письмах».

¹ Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев. С. 182–183.

После окончания университета, в мае 1812 года, Чаадаев вступает юнкером в гвардию, а затем вместе с братом определяется подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Молодые люди уезжают в Петербург, где снимают комфортабельные «покои в семь комнат» — Чаадаев всю жизнь будет любить комфорт. Но фешенебельная жизнь продолжалась недолго. Вскоре полк выступает в поход, и молодому денди приходится переносить все военные тяжести и невзгоды. В сентябре Чаадаева производят в прапорщики, за храбрость в битве под Кульмом он награжден орденом Св. Анны 4-й степени, а за отличие в германской кампании 1813 года — Железным крестом. В заграничном походе Чаадаев неожиданно переходит из гвардии в Ахтырский гусарский полк. М. И. Муравьев-Апостол объяснял этот переход единственно желанием Чаадаева пощеголять в новом кавалерийском мундире. Возможно, так оно и было.

Весной 1816 года Чаадаев переводится корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, квартировавший тогда в Царском Селе. С возвращением Гусарского полка из Франции жизнь в Царском преобразуется: на плацу проходят военные учения, а вечерами в казармах устраиваются шумные пирушки. Опять же немаловажная деталь: Чаадаев меняет не только род войск, но, естественно, и мундир (шляпа с белой лентой вокруг кокарды, бобровый мех, галун по ремням портупей, золотые кисточки на сапогах и проч.). «В мундире этого полка всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, румяного, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами, — отмечает в своих „Записках“ Ф. Ф. Вигель, в своем роде извечный антагонист Чаадаева. — Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, не ставил их гораздо других преимуществ, коими гордился и коих вовсе в нем не было: высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить насмешки или досаду; но он не был заносчив, а старался быть скромно-величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно представляли ему звание молодого мудреца, редко посещавшего свет и не

предающегося никаким порокам. Он был первым из юношей, которые тогда полезли в гении...»¹

В августе—сентябре Чаадаева производят в поручики.

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Такую поэтическую характеристику с некоторой долей иронии дал Пушкин Чаадаеву в 1820 году (это были стихи к портрету, который висел в центре петербургской гостиной Чаадаева под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился живописный портрет Наполеона, слева — Байрона).

Познакомились они — начинающий, но уже известный юный поэт и блестящий гусар («le beau Tchaadaef» — «красавец Чаадаев», как звали его сослуживцы) — летом 1816 года в Царском Селе в доме Карамзина. Будто бы сама судьба сводит двух выдающихся людей эпохи. Биографы Чаадаева отмечали: «Говоря о Чаадаеве, нельзя не говорить о Пушкине; один другого дополняет, и дружеские имена их нераздельны в памяти потомства»².

«Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, состоял из офицеров лейб-гвардейского полка, — вспоминал М. А. Корф. — Вечером, после классных часов, когда прочие бывали или у директора, или в других семейных домах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами нараспашку»³. В последний год своего пребывания в Лицее Пушкин мечтает о военной службе, для него теперь не было ничего «завидней бурных дней не слишком мудрых усачей, но сердцем истинных гусаров». По воспоминаниям М. В. Юзефовича, «Пушкин еще отроком, в Лицее, попал в среду стоявшей в Царском Селе лейб-гусар-

¹ Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 т. М., 1928. Т. 2. С. 162.

² Русский вестник. 1862. № 11. С. 134.

³ Корф М. А. Записка о Пушкине // Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1870. С. 247–248.

ской молодежи. Там были и философы вроде Чаадаева, и эпикурейцы вроде Нащокина, и повесы вроде Каверина. Все это были люди, блестящие не по одному мундиру, разыгрывавшие роли каждый по своему вкусу. В их кругу впечатлительный юноша естественно делался тем, чем были они: с Чаадаевым мыслителем, с Нащокиным искателем чувственных наслаждений, с Кавериним кутилою, опережая их, может быть, во всем, соразмерно своей восприимчивой натуре, еще усиленной примесью африканской крови. Но и тут гениальный юноша понимает уже суть дела, отделяет шалости от порока...»¹. Чаадаев оказал огромное влияние на формирование интеллектуальных интересов и политических взглядов юного Пушкина.

Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь...

На вечеринках в гусарских казармах не только веселились и пили пунш, здесь же вели серьезные беседы, затрагивающие самую болезненную и животрепещущую проблему — судьбу Отечества. Через много лет Пушкин будет вспоминать, как он «с Кавериним гулял, / Бранил Россию с Молоствовым, / С моим Чедаевым читал...». По воспоминаниям Я. И. Сабурова, влияние Чаадаева, имевшего среди друзей репутацию «философа», «мыслителя», на Пушкина было «изумительно», «он заставлял его мыслить».

После выхода из Лицея Пушкин устраивается в Петербурге, сюда же вскоре переезжает и Чаадаев, назначенный адъютантом к командиру гвардейского корпуса И. В. Васильчикову. Друзья часто встречаются — отражением их встреч явились позднее пушкинские стихи «Любви, надежды, тихой славы» (1818), «В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (1821), «К чему холодные сомненья» (1824). Пушкин в своем кишиневском дневнике в 1821 году запишет, обращаясь к Чаадаеву: «Твоя дружба мне заменила

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 104.

счастье», а Чаадаев уже в 1854 году скажет С. П. Шевыреву: «Пушкин гордился моею дружбою».

Молодой офицер находится в коротких отношениях со многими высокопоставленными лицами. (Чаадаев, пользуясь своими связями, стал одним из просителей перед императором за Пушкина, которому грозила ссылка. При удобном случае Петр Яковлевич любил говорить об этом — таков характер!) По долгу службы он часто общается с великими князьями Константином и Михаилом Павловичами, милостиво к нему расположенными, и с Николаем Павловичем, будущим императором. В 1819 году Чаадаев получает звание ротмистра. Александр I намеревается сделать красавца-офицера своим адъютантом, но это назначение задержалось из-за отъезда императора в Троппау на конгресс Священного союза летом 1820 года.

Теперь Чаадаев блистает уже в Петербурге. Впрочем, здесь он старается соответствовать не «гусарскому», а «байроническому» образу. «Никто не замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу, — пишет Вигель, — сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они же между собою называли его настоящим розаном, а он был Нарцисс, смертельно влюбленный в самого себя...»¹ В кругу ученых, писателей и художников он держит себя непринужденно, спокойно и умно; окружающие прислушиваются к его метким и неожиданным замечаниям. Отметим также, что в это время Чаадаев принимает деятельное участие в масонских ложах (состоял в них до 1821 года) и достигает весьма высоких масонских степеней. Это наложит отпечаток в дальнейшем на религиозно-мистическую и вольнолюбивую направленность его философской мысли; масонские связи будут так или иначе помогать ему в дальнейшем.

¹ Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 162. В другом месте «Записок» Вигель замечает: «Надо еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холил, прискался духами» (Там же. С. 163).

Вскоре наступает перелом в жизни Чаадаева и в его блестящей карьере. В октябре 1820 года «возмущается» Семёновский полк. Сообщить об этом Александру, находившемуся тогда в Троппау, поручено Чаадаеву. Миссия Чаадаева в Троппау сразу же обросла легендами. Поговаривали, что он сам предложил свою кандидатуру (по статусу должен был ехать кто-то другой), многие усмотрели в этом желание приблизиться к престолу, сделать карьеру, объясняли это «слабостью непомерного тщеславия»¹. Ядовитый Вигель писал: «Он был уверен, что, узнав его короче, Александр, плененный его наружностью, пораженный его гением, приобщит его к своей особе и на первый случай сделает его флигель-адъютантом»². Миссия Чаадаева была действительно сложной и дипломатической: он должен был не только доложить о случившемся государю, но и смягчить его гнев.

Подробности беседы с Александром (она продолжалась более часа) неизвестны — сам Чаадаев никому не рассказывал о ней. По слухам, последними словами царя были: «Adieu, monsieur le libéral» («Прощайте, господин либерал!» — С. Д.). Как бы там ни было, но отношение императора к Чаадаеву сделалось прохладным. В декабре 1820 года Чаадаев подает в отставку (тому причиной были многие факторы). 21 февраля 1821 года царь изъявил на это согласие — но без обычного в таких случаях повышения в чине (и это Чаадаев переживал очень долго).

Чаадаев решает — пусть временно — уехать из России. Не была ли связана эта поездка с предчувствием будущей декабристской катастрофы? (В июне—июле 1821 года Чаадаев дал согласие на предложение И. Д. Якушкина вступить в тайное общество). Как знать, но Петр Яковлевич, судя по всему, обладал прекрасной интуицией и великолепным дипломатическим чутьем. Итак, 6 июля 1823 года он покидает родину — путешествует по Европе (Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия), где переживает нравственный кризис. Его новый, философско-исторический взгляд на

¹ Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев. С. 205.

² Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 163.

мир формируется под влиянием многих факторов: это и поражение декабристов, которое он рассматривал как результат несостоятельности их философско-политических убеждений; и знакомство и беседы с Шеллингом в 1825 году в Карлсбаде; и встречи с английским миссионером Ч. Куком.

В 1826 году Чаадаев возвращается в Россию. Готовясь к приезду на родину, он пытается выяснить, каково его нынешнее положение: беспокоят, разумеется, в первую очередь тесные связи с декабристами. Действительно, в следственных документах по делу декабристов его фамилия значится в членах тайного общества, но он проходит как «не участвовавший в делах общества». Однако обстоятельства и здесь складываются для него благоприятно: высочайшая резолюция гласила «оставить без внимания» дело Чаадаева. Все же при въезде в Россию в Брест-Литовске Чаадаева обыскивают и задерживают на шесть недель; все это время он находится под негласным полицейским надзором. Чаадаеву приходится давать показания о ввозимых им книгах, запрещенных цензурой, — но и это в конечном счете не препятствует его благополучному возвращению.

И вот, «из дальних странствий возвратясь», несколько месяцев Чаадаев живет в Москве. (Здесь он встречается и с Пушкиным: известно, что на квартире С. А. Соболевского он слушает авторское чтение «Бориса Годунова».) В октябре 1826 года Чаадаев уезжает в подмосковное имение своей тетки — и начинается «затворнический» период в жизни философа. Он ни с кем не общается. Он размышляет. Он принимается за философический трактат на французском языке.

Трактат Чаадаева написан в эпистолярном жанре — он так и называется «Философические письма», адресованные к некоей *madame*. Кто же она, эта таинственная госпожа, адресат Чаадаева, и была ли она? Этот вопрос весьма заботил современников философа (известного и тем, что с женщинами он особенно не общался). Одни предполагали, что это Е. Г. Левашова, другие называли З. А. Волконскую. Современные исследователи указывают на Е. Д. Панову, беседы с которой (вернее, философские проповеди Чаадаева, поскольку барышня скорее внимала ему, нежели участвовала

в диалогах) подтолкнули его к выбору жанра. Возможно, что Панова, влюбленная в Чаадаева, и написала ему письмо о своих религиозных и проч. смятениях. Чаадаев же якобы попытался отвечать ей, но потом, долго разрабатывая и расширяя тему, к моменту окончательного варианта первого письма уже прервал знакомство со своим адресатом. Разумеется, Пановой это письмо отправлено не было. Но эпистолярная форма (одна из традиционных для философических рассуждений) была уже выбрана и вполне удовлетворила автора. Тут надо заметить, что для Чаадаева, который все-таки не был литератором, жанр письма был наиболее легким и удобным для изложения своих мыслей. Русским литературным языком он не владел так, как владел французским. Интересно, что и Пушкина он просил писать ему непременно по-русски, «но поэт продолжал переписку по-французски, по-видимому, не только снисходя к привычкам друга, но полагая, что русский язык еще недостаточно подготовлен для изъяснения сложных философских проблем»¹. Именно поэтому «Философические письма» написаны по-французски, здесь не было снобизма. Обращение же к женщине (к идеальной женщине, к потенциальной носительнице «прекрасного» — и этот идеал тоже традиционен, особенно для XVIII века) позволял внести в философские умозаключения Чаадаева проповедническую ноту, без которой он обойтись не мог, но которая в псевдидиалоге с женщиной его оправдывала.

В 1831 году, написав «Философические письма», которые окажутся главным трудом его жизни и духовным наследием, Чаадаев выходит из затворничества, возвращается в свет. Теперь он — постоянный посетитель московского Английского клуба, принимает на своей квартире друзей и единомышленников, возобновляет старые знакомства. Чаадаев постоянно окружен людьми. Обычно сначала его надменность и холодное остроумие отталкивают, но потом обаяние его ума начинает привлекать и завораживать. «Он был человек мягкосердечный, многоначитанный, отменно

¹ Эйдельман Н. Пушкин и Чаадаев // Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 336.

любезный, но в то же время необычайно суетный. Heureux à force de vanité (самодоволен в суетности), говаривал про него тот же Пушкин, любивший его до конца, но в зрелых летах гораздо менее уважавший, нежели по выходе своем из Лицея»¹. Чаадаев был не столько надменен в поведении, сколько надменен в мыслях. Как вспоминала С. В. Энгельгардт, «он был вежлив со всеми и охотно беседовал с женщинами, но, к сожалению, этот умный и образованный человек был влюблен в самого себя. Раз я у него спросила, гуляет ли он зимой пешком. Он отвечал: „Я крайне удивлен, что мои привычки неизвестны кому-нибудь. Знайте же, что я гуляю ежедневно от часа до двух“. В моем присутствии у него спрашивал молодой человек, собиравшийся во Францию, не даст ли он ему каких поручений. Чаадаев отвечал: „Скажите французам, что я здоров“»².

«Философические письма» Чаадаева читаются, копируются, горячо обсуждаются — и осуждаются. Летом этого года и Пушкин знакомится с некоторыми из них. Любовь Чаадаева к России кажется странной современникам, она, по их мнению, «непатриотична». «В Москве, — говаривал Чаадаев, — каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну...»³. Непатриотично, конечно, но верно.

В мае 1831 года Чаадаев предпринимает первую попытку напечатать «Философические письма» и через посредничество Пушкина обращается к петербургскому издателю Ф. М. Беллизару, — эта попытка заканчивается неудачей. В следующем году он собирается напечатать два письма

¹ *Бартенев П.* Комментарий к письму А. С. Пушкина // Русский архив. 1884. Вып. 3–4. С. 459.

² *Энгельгардт С. В.* Из воспоминаний // Русский вестник. 1887. Т. 191. № 10. С. 197.

³ *Герцен А. И.* Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 9. С. 146–147.

в Москве, но они не проходят духовную цензуру. Цензор, протоиерей Ф. Голубинский, отвечает, что уважает Чаадаева как философа, чтит его мысли о египетских обелисках, но никак не может одобрить его представления о единстве западной церкви как существенном порождении истинного духа христианства. Друзья предлагают даже издать письма за границей, с предупреждением, что рукопись похищена у автора и печатается без его ведома, но об этой попытке более ничего не известно (и, думается, эта идея не была близка автору — что там Запад!). Вообще же Чаадаев распространял письма за границей так же активно, как и на родине.

Когда он обращается в редакцию «Московского наблюдателя» и редактор В. П. Андросов требует внести изменения в текст, самолюбивый автор отказывается от публикации. Попыток опубликовать сочинение было предпринято несколько, и все они оказались безуспешными. Наконец, летом 1836 года Чаадаев предлагает свой труд Н. И. Надеждину, издателю журнала «Телескоп», и получает согласие. Издатель (на свою беду) заинтересовался философским трактатом и не разглядел нависшей над собой опасности. Чаадаев предлагает Надеждину издать сначала третье письмо, казавшееся ему наиболее безопасным в цензурном отношении, но издатель убеждает его начать публикацию, соблюдая последовательность.

Итак, первое письмо публикуется в 15-м номере «Телескопа» (октябрь) под названием «Философические письма к г-же ***», анонимно. Впечатление, которого так жаждал автор, его труд произвел. По свидетельству Жихарева, «даже люди, никогда не занимавшиеся никаким литературным делом; круглые неучи; барыни, по степени интеллектуального развития мало чем разнившиеся от своих кухарок и прихвостниц; подьячие и чиновники, увязшие в казнокрадстве и взяточничестве; тугоумные, невежественные, полупомешанные святоши, изуверы или ханжи, поседевшие и одичалые в пьянстве, распутстве или суеверии; молодые отчизнолюбцы и старые патриоты — все соединились в одном общем вопле проклятия и презрения

к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию»¹. Только тут Надеждин начинает беспокоиться. Чаадаев же успокаивает его, говорит, что сочинение его известно и в правительственных сферах Петербурга, что с ним знаком даже начальник III Отделения А. Х. Бенкендорф (кстати, «брат» по ма- сонской ложе)...

В показаниях, данных им 17 ноября 1836 года, Чаадаев между прочим легкомысленно замечает: «Когда Надеждин пришел ко мне и говорил о впечатлении, произведенном статьей, и о своем беспокойстве, то я в утешение ему сказал, что князь Элим Петрович Мещерский, человек известный своим благомыслием и служащий у министра просвещения, взял у меня подлинник известного письма, чего, вероятно, он бы не сделал, если бы оно было вовсе непозволительного содержания. (...) Очень вероятно, что сказал г. Надеждину, что добрые люди за меня заступятся, потому что в том был тогда уверен и теперь еще уверен...»

В начале октября Чаадаев выслал оттиск напечатанного в «Телескопе» «Философического письма» Пушкину. В ответном письме Пушкина от 19 октября находит отражение одна из важнейших социально-философских концепций поэта. Признавая, что многое в критике современной общественной жизни «глубоко верно», поэт серьезно расходится с ним в оценке исторического прошлого и будущего России: «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Это письмо отправлено не было; неизвестно, сумел ли Чаадаев впоследствии (после смерти Пушкина) прочитать его, — на этот счет высказывается множество догадок².

Острая внутренняя полемичность первого «философического письма» Чаадаева предопределила и общественное мнение: оно было резко негативным. Тон гонениям на Чаа-

¹ Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев // Вестник Европы. 1871. Кн. 9. С. 31–32.

² Об этом см.: Эйдельман Н. Пушкин и Чаадаев. С. 350–351.

даева задал Ф. Ф. Вигель, написавшей митрополиту Серафиму письмо о «богомерзкой статье», где «нет строки, которая бы не была ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, кое бы не было жесточайшим оскорблением нашей народной чести»¹. Митрополит не замедлил донести через Бенкендорфа императору: «Все, что для нас, россиян, есть священного, поругано, уничтожено, оклеветано с невероятной дерзостью и с жестоким оскорблением как для народной чести нашей, так для правительства и даже для исповедуемой нами православной веры»².

В это время присяжный московский остролов С. А. Неелов в Английском клубе зачитывал эпиграмму:

Бежал Чадаев наш к бессмертию галопом,
Но остановлен Телескопом.
Достоин крест иметь, поверьте в этом мне,
Но не на шее — на спине.
Он генерал, и по рассудку
Его определить возможно даже в будку.

В ответ на все это Чаадаев мог только сказать: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, — только бы не обманывать»³.

19 октября состоялось заседание Главного управления цензуры, после которого министр народного просвещения С. С. Уваров представил доклад царю. Резолюция Николая была такова: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу»⁴. В одобренном царем Проекте Отношения Бенкендорфа к московскому генерал-губернатору между прочим писалось, что в статье Чаадаева «говорится

¹ Русская старина. 1870. Т. 1. С. 163.

² Там же. С. 292.

³ Цит. по: *Каменский З. А. Чаадаев // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 471.*

⁴ Цит. по: *Лебедев А. Чаадаев. М., 1965. С. 173.*

о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унижить себя до такой степени, чтоб нечто подобное написать. (...) Подобная статья не могла быть написана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок. (...) Его Величество повелевает, чтобы вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха...». Первого ноября автора трактата пригласил к себе московский обер-полицмейстер и объявил правительственные меры, состоявшие в медико-полицейском надзоре (они сводились к следующему: предписывалось не выходить из дома, довольствуясь одной прогулкой, и каждый день принимать медиков). Впрочем, вскоре и эта ограничительная мера была пресечена — «добрые люди», как и предполагал Чаадаев, за него «заступились». Уже 30 октября 1837 года император накладывает резолюцию: Чаадаева «освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать»¹.

Отметим, что в своих показаниях Чаадаев отрекся от своей инициативы издания «Писем»: «...никогда не имел намерения, ни желания печатать известную статью, а что узнал о печатании оной только, когда она получила одобрение цензора и находилась в корректуре. Это и теперь подтверждаю. Вероятно, я бы мог и тогда еще остановить печатание, если бы усиленно того требовал. Но этого я не сделал».

Официальное «сумасшествие» отнюдь не сделало Чаадаева изгоем. Напротив, он привлек к себе внимание (чего и хотел: не флигель-адъютант, не светский лев, но русский философ). «Чаадаев постоянно и очень громко критиковал все административные распоряжения в России, считал себя не понятым правительством и обществом, и на его вечера

¹ Цит. по: Пузанов Н. П. П. Я. Чаадаев и его мирозерцание. Киев, 1906. С. 11.

(после понесенной им кары) собирались с большою охотою приятели его из Английского клуба, решавшие в то время самые запутанные политические вопросы»¹. Любопытно и следующее мнение: «Чаадаев, гонимый правительством, постоянно был его оппонентом и любил это выказывать. Совершенное незнание России, потребностей народа и привычка к оппозиции...»²

Вскоре после истории с «Телескопом» Чаадаев задумывает «Апологию сумасшедшего», которую и напишет в 1837 году. Помимо анализа своего «странного положения» («пораженный безумием по приговору верховного судии страны»), он определяет цели, которые преследовал, напечатав «Философическое письмо»: из любви к Отечеству, к истине, а не ради «милостей толпы» и «народных рукоплесканий». Кроме того, в «Апологии» сконцентрированы основные положения «Писем»: о месте России по отношению к Западу и Востоку, о путях ее развития и т. д. Заканчивается «Апология» великолепным пассажем, который невозможно оспорить: «Есть один факт, который властно господствует над нашим многовековым историческим развитием... это — факт географический».

Как бы ни относились современники к философским воззрениям, заблуждениям и парадоксам Чаадаева, как бы ни были эти воззрения подвергнуты критике, и в чем-то вполне обоснованной, нельзя не признать того, что Чаадаев взбудоражил умы; именно он стоял у истоков извечных споров западничества и славянофильства, продолжающихся до сих пор; именно он пытался объединить идеи декабристские и ортодоксально монархические. А судьбу России действительно трудно предопределить — так уж она, Россия, расположена — между Западом и Востоком.

Нам хотелось в этих заметках набросать лишь несколько штрихов к портрету Петра Яковлевича Чаадаева и чтобы

¹ *Арсеньев И. А.* Слово живое о неживых // Исторический вестник. 1887. Т. XXVII. № 1. С. 81.

² *Дельвиг А. И.* Мои воспоминания. М., б. г. Т. 1. С. 178.

эти штрихи немного «оживили» образ этого странного, страдающего, в чем-то лицемерного и кающегося в чем-то, надменного и доброжелательного, но всегда неизъяснимо загадочного и ни на кого не похожего русского философа.

Купив дюжину перчаток и увидев, что первая пара его не удовлетворяет, Чаадаев выбрасывал всю дюжину... А имение давно заложено и перезаложено, но под окном стоит взятый в долг в аренду изящный экипаж. И камердинер (он потом продаст эту дюжину выброшенных перчаток) в модном дорогом (много дороже, чем у хозяина) фраке докладывает, что пора ехать в Английский клуб. А там ждут друзья и враги, там будут разгораться споры, там будут оттачиваться острые «словечки», которые не дойдут до потомков...

«Да, читатель, завидно Чаадаеву, завидно его веку и всем его современникам! — восклицал в последней четверти XIX века один журналист. — Тогда люди жили, потому что умели страстно и всецело увлекаться какими бы то ни было идеями... Эти люди и сомневались, и халтурили, и впадали в мрачное отчаяние порою, и все-таки жили... Их сомнения были муками родов, производивших на свет новые и живые идеи...»¹.

Что ж,

Пока свободу горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы...

Сергей Денисенко

¹ Парголовский мизантроп. Мысли и впечатления, навеваемые современной литературой // Отечественные записки. 1874. Т. ССХV. № 7–8. С. 217.

*Философические
письма*

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Adveniat regnum tuum
(Да придет Царствие Твое)¹.

Сударыня².

Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас более всего люблю и ценю. Судите же сами, как меня должно было поразить ваше письмо. Эти самые любезные свойства ваши и очаровали меня при нашем знакомстве, они-то и побудили меня заговорить с вами о религии. Все вокруг вас призывало меня к молчанию. Повторяю, посудите, каково же было мое удивление при получении вашего письма. Вот все, что я имею вам сказать, сударыня, по поводу выраженных там предположений об оценке мною вашего характера. Не будем говорить более об этом и прямо перейдем к существенной части вашего письма.

И прежде всего, откуда в вашем уме берется это смятение, до того вас волнующее и утомляющее, что оно, по вашим словам, отражается и на здоровье? Неужели это печальное следствие наших бесед? Вместо успокоения и мира, которое должно было бы внести пробужденное в сердце чувство, оно вызвало тревогу, сомнения, чуть ли не угрызения совести. Впрочем, чему удивляться? Это естественное следствие того печального положения вещей, которому подчинены у нас все сердца и все умы. Вы просто поддались действию сил, которые приводят у нас в движение все,

начиная с самых высот общества и кончая рабом, существующим лишь для утех своего владыки.

Да и как могли бы вы этому противиться? Те самые свойства, которыми вы выделяетесь из толпы, должны сделать вас тем более подверженной вредному воздействию воздуха, которым вы дышите. Среди всего окружающего вас могло ли сообщить устойчивость вашим идеям то небольшое, что мне было позволено вам поведать? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Последствия я должен был предвидеть, да я их и предвидел. Отсюда частые умолчания, мешавшие убеждениям проникнуть вам в душу и вводившие вас, естественно, в заблуждение. И если бы только я не был уверен, что религиозное чувство, пробужденное хотя бы частично в чьем-либо сердце, какие бы оно ни причиняло ему муки, все же лучше полного его усыпления, мне бы пришлось раскаиваться в своем усердии. Тем не менее я надеюсь, что облака, омрачающие сейчас ваше небо, однажды превратятся в благодатную росу и она оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце; и произведенное на вас действие нескольких ничего не стоящих слов служит мне верной порукой более значительных результатов, их непременно вызовет в будущем работа вашего собственного сознания. Смело вперед, сударыня, волнениям, вызываемым в вас мыслями о религии: из этого чистого источника могут вытекать только чистые чувства.

По отношению к внешним условиям вам пока достаточно знать, что учение, основанное на высшем начале единства и непосредственной передачи истины в непрерывном преемстве ее служителей, только и может быть самым согласным с подлинным духом религии, потому что дух этот заключается всецело

в идее слияния всех, сколько их ни есть в мире, нравственных сил — в одну мысль, в одно чувство и в постепенном установлении социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое иное учение, вследствие одного уже отпадения от учения первоначального, далеко отталкивает от себя возвышенное обращение Спасителя: *«Молю тебя, Отче, да будут они одно, как мы одно»*³, и не желает водворения Царства Божьего на земле. Но отсюда совсем еще не следует, что вы обязаны провозглашать во всеуслышание эту истину перед лицом земли: конечно, не таково ваше призвание. То самое начало, из которого эта истина исходит, обязывает вас, напротив, при вашем положении в свете, видеть в ней только внутренний светоч вашей веры — и ничего более. Я почитаю за счастье, что способствовал обращению ваших мыслей к религии, но я почувствовал бы себя очень несчастным, сударыня, если бы вместе с тем вызвал замешательство в вашем сознании, которое со временем не могло бы не охладить вашей веры.

Я вам, кажется, как-то сказал, что лучшее средство сохранить религиозное чувство — это придерживаться всех обычаев, предписанных церковью. Такое упражнение в покорности важнее, чем обыкновенно думают; и то, что его налагали на себя продуманно и сознательно величайшие умы, является настоящим служением Богу. Ничто так не укрепляет разум в его верованиях, как строгое выполнение всех относящихся к ним обязанностей. Впрочем, большинство обрядов христианской религии, проистекающее из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого пра-

вила, имеющего безусловный характер, — а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого порядка, нежели те, которые исповедуют массы, верования, возносящие душу к тому самому источнику, из коего проистекают все убеждения, причем верования эти нисколько не противоречат народным, а, напротив, их подтверждают; в таком случае, но единственно в этом, позволительно пренебречь внешней обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более важным трудам. Но горе тому, кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона. А вы, сударыня, не всего ли лучше облечься в одежды смирения, столь приличные вашему полу? Поверьте, это лучше всего сможет успокоить смущение вашего духа и внести мир в ваше существование.

Да даже и с точки зрения светских взглядов, скажите, что может быть естественнее для женщины, развитый ум которой умеет находить прелесть в научных занятиях и серьезных размышлениях, чем сосредоточенная жизнь, посвященная главным образом религиозным помыслам и упражнениям? Вы говорите, что при чтении книг ничто так не действует на ваше воображение, как картины мирных и вдумчивых существований, которые подобно прекрасной сельской местности на закате дня вносят мир в душу и вырывают нас на мгновение из тягостной или бесцветной действительности. Но ведь это вовсе не фантастические картины: только от вас зависит осуществление одного из этих пленительных вымыслов. Вы имеете все необходимое для этого. Как видите, я вовсе не проповедую вам мораль слишком строгую: в ваших же вкусах, в самых приятных грезах вашего воображения я ищу то, что может внести мир в вашу душу.

Содержание

<i>С. Денисенко. Блестящее безумие.</i>	
Штрихи к портрету Петра Яковлевича Чаадаева	5
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА	
Письмо первое	23
Письмо второе	49
Письмо третье	68
Письмо четвертое	83
Письмо пятое	98
Письмо шестое	116
Письмо седьмое	151
Письмо восьмое	176
АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО	185
Примечания. <i>А. Степанова</i>	208